

И.С. Шмелев

Пути небесные. Том 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Ш72

Ш72 **Шмелев И.С.**
Пути небесные. Том 2 / И.С. Шмелев – М.: Книга по Требованию, 2021. –
152 с.

ISBN 978-5-4241-1335-2

"Пути небесные" - последний труд писателя, представляющий собой уникальную попытку "духовного романа", к идее которого приходили в конце жизни многие русские классики.

ISBN 978-5-4241-1335-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© И.С. Шмелев, 2021

Иван Сергеевич Шмелев
Пути небесные
Том II

I БЛАГОВЕСТИЕ

В Уютове, под Мценском, прошла самая важная часть жизни Дарьи Ивановны и Виктора Алексеевича.

В «записке к ближним» Дарья Ивановна называет уютовскую жизнь светлым житием и отмечает, что там им было даровано вновь родиться. По словам Виктора Алексеевича, там он постиг радость бытия и благодарения:

«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...»

Когда он постиг это, восходя ступенями трудными, ведомый своею «Побеждающею», как назвал Дариньку старец Варнава у Троицы, постиг он и другое важнейшее: все в его жизни, до мартовской встречи на бульваре с бесприютной девушкой, и после этой знаменательной встречи, было как бы предначертано в Планае наджизненном. До сего постижения ничего «предначертанного», вне его воли, для него не существовало, казалось порождением недомыслия или больного воображения. Что за вздор! — усмешливо отзывался он на робкие попытки Дариньки, старавшейся открыть ему пути в ее «четвертое измерение», в ее «там... там». Он любовался прелестной ее беспомощностью, шутил над ее «там... там», выстукивая и подпевая: «Там-там... там-та-ам!..» — а она поднимала перед собой руки, как бы ограждая свое святое от горшего осквернения. Этого «там» она не могла бы ему доказать, будь даже доктором богословия. Она только шептала с кроткой укоризной: «Это сердцем надо, это-у Господа». До его вразумления, или, скорей, дарованного его откровения, проявившегося в одном событии уютовской их жизни, это ее «у Господа» для него было то же, что для калужского мужика квадратный корень. До случившегося прозрения он не постигал, что раскрывается это только сердцем и, может быть, вдохновением, когда «божественный глагол до сердца чуткого коснется». Замечательно выразил это поэт Гафиз, язычник. Виктор Алексеевич когда-то пометил его стихи вопросительным знаком и припиской «поэтическая вольность»:

Гафиз! зачем мечтаешь,
Что сам творишь ты песнь свою?
С предвечного начала
На лилиях и розах
Узор её волшебный
Стоит, начертанный в раю!

Я и не подозревал, что мой «узор» тоже уже начертан с предвечного начала, как бы задан мне: выполняй. И, что особенно примечательно, указываются некие пути к распознаванию узора, некие знаки-знамения, как вехи, чтобы не сбиться с пути в метель. Ну, как вот снисходительный учитель намеками наводит ученика на разрешение задачи. Еще задолго до прозрения моего не раз замечал я это наведение, но сводил все к случайности. Помню, меня удивило совпадение: письмо от питерского приятеля, советовавшего мне принять службу в Мценске, и в самое то утро бросилось мне в глаза газетное объявление, набранный крупно заголовок: «ПОД МЦЕНСКОМ, по случаю семейного раздела, дешево продается усадьба...» Теперь я знаю, что это была — веха. И, слава Богу, мы не проглядели ее. Не я — Даринька не проглядела, сказала, осветившись: «Хочу... так хочу!.. там будет хорошо». Словом, Уютово далось нам в руки как бы само. Даринька

вдохновенно нашла узор.

Как бы в подтверждение, что избранный путь — верный, Даринька, еще и не видя Уютова, почувствовала в сердце благовестие. Об этом вспоминает в своей «Записке»:

«Всю дорогу радовалась я приволью лугов и роц, как в детстве, когда ходили с тетей на богомолье. Совсем забыла, какая стала нечистая. А как подъезжать к Мценску, устрашилась, какие новые испытания посланы будут мне за грех мой. И воззвала к Пречистой: „Призри на смирение мое, всепетая Богородица...“ И, в радостном свете, услышала благовестие».

Был тихий июньский вечер, в червонном солнце, когда поезд подходил к станции Мценск. В купе директорского их вагона солнце лежало теплыми пятнами на малиновом бархате обивки, сияло на хрустале графина, на бронзе и подвесках стенных подсвечников, на лакировке, и от этого света было пасхально-радостно.

— Гляньте-гляньте, милая барыня... яички-то наши христованные стали!.. — захлебнулась от радости Анюта.

И правда: яйца, чашки, молоко в бутылке... — все было радостное, пасхальное. Пахло свежими огурцами, земляникой, сеном с покошенных откосов, с лугов недалеко Зуши. Золотой купол белостенного собора открылся им на горе, и донесло различный звон мценских колоколен. Даринька крестилась на завидневший городок и, залитая пасхальным светом, сказала, в себе: «Как хорошо, Господи... светло, и благовест».

Этот свет и этот благовест-встречу приняла она сердцем как благовестие.

Виктор Алексеевич помнил этот пасхальный свет, покоящий благовест и затаенно-радостное лицо Дариньки. Давно не видел ее такую просветленной. Подумал: почему она так насторожилась, радостная тревога в ней? Он взял ее руку и молча поцеловал. Она не отозвалась, — была где-то, в своем.

Они приехали в Мценск в четверг — думалось тогда Дариньке, — и она удивилась, услышав благовест: кому же празднование завтра? И вспомнила: 24 июня. Рождество Крестителя Господня! Она очень почитала этот праздник; с этим связывалась больная ее тайна. Вспомнив, какой день завтра, она трепетно затаилась. Виктор Алексеевич спросил, что ее так хорошо встревожило. Она смутилась: «Так, хорошо... звон...» — и закрыла лицо руками. Он любовался ее смущеньем, спросил опять, что с ней. Не отнимая рук, она сказала:

— Вспомнила, завтра память Крестителя Господня. Как хорошо, на наше новоселье.

С возвращения из Петербурга, уже с полгода, он не помнил ее такой. После страшного и странного, что было с ними, когда он, казалось, безвозвратно ее утратил, прежнюю, с осветляющими глазами, какую встретил в келье матушки Агнии в душный июльский вечер, и все полней раскрывавшуюся ему в новых ликах и обаянии; после ее отчужденности от него и от жизни, Даринька снова явилась в светлой своей нетронутости. Он хотел видеть ее глаза, но они прятались в смущенье. И вдруг понял, почему она в радостной тревоге; важное для нее связывала она с Крестителем, — страстно желанная возможность, утраченная после тяжелого недуга: носила поясок с молитвой, читала, молясь, «Славу» Крестителю, — «Ангел из неплодных ложесян произошел еси...» — как-то она ему открылась. И вот на пороге новой жизни благовест их встречает — благо-вести-

ем. Он почувствовал к ней жалеющую нежность и не стал тревожить.

За благовестием последовала приятная неожиданность.

Поезд подходил к задымленному вокзалу Мценска. Высунувшаяся в окно Анюта радостно визгнула: «Офицериков-то сколько, ма-тушки-и!..» Это были путейцы-инженеры, в белых кителях, парадно. Виктор Алексеевич удивился, почему такой «сбор всех частей», но это сейчас же объяснилось.

Это были сослуживцы, из Орла и Тулы. Начальник дороги, имевший счета с Петербургом, дал знать по линии: выразить Вейденгаммеру товарищеские чувства. Все понимали, что с Вейденгаммером обошлись по-свински: вместо повышения за заслуги — все знали ценность его паровозной топки, дававшей большую экономию, — ему предложили Мценск. Недоумевали, почему «философ-астроном», самолюбивый, пылкий, хотя и не карьерист, а в житейских делах скорей младенец, проявил такую покладистость. Говорили о миллионном наследстве после брата-сибиряка, а Вейденгаммер полез в такую дыру, купил даже усадьбу, из которой рады были сбегать владельцы. Ходили слухи о загадочной красавице, сбежавшей из монастыря и вскружившей голову всей Москве: из-за нее покончил самоубийством барон Р., дрались на дуэли два гвардейца, а третий, славный победами в амурных делах, пошел добровольцем на Балканы. Рассказывали, что красавица резко переломила жизнь, и фантазер Вейденгаммер, безумно в нее влюбленный, разошелся с женой, женился без огласки на романтической красавице, ради нее выбрал такое захолустье... — во вкусе Руссо и какой-то героини Жорж-Занд, — и только из любви к путевой работе не бросает службу, хоть и миллионер. Все это подогревало любопытство. К тому же сослуживцы любили мягкого и доброжелательного Вейденгаммера, хорошо воспитанного, никому поперек дороги не становившегося, и на просьбу начальника ответили так дружно.

Встреча вышла необыкновенно душевная. И это Даринька приняла как знамение благое.

Старейший инженер Караваяев, развалистый, с седой бородой по грудь, поднес огромный букет белых лилий — Даринька едва его держала — и сказал, вместо заготовленного приветствия, родившийся в голове экспромт. Потом дивились, откуда у него такая тонкость мысли, — так это было неожиданно от «батеньки-ведмеда, от теплого Каравашки». Так его приятельски называли за благодушие, за беспечность к движению по службе; он увяз в калужской глуши, никуда не желая сдвинуться, любил природу, музыку и пустынное житие и был страстным охотником.

Караваяев и сам дивился, как то-нко у него вышло:

— Как увидал глаза... пропали у меня все слова! «Лесная царевна» вспомнилась, мальчишкой в «Третьяковке» еще очаровался. Ни к черту заготовка, трепанные слова... тут — сама чистота! Что тут слова, перед этой лилией Сарона!.. И вдохновился.

А сказал он, нельзя короче:

«Примите эти чистые, королевские лилии — общий восторг перед отныне нашей, путевой... королевой!»

Грохнуло «ура», какого не слыхивали на задымленной станции Мценск. Вейденгаммера обнимали, целовали ручку Дарье Ивановне, поднесли хлеб-соль-изрядный торт, в пене из сливок, с земляничкой, с солонкой в виде серебряной

вчернь паровозной трубы раструбом, выпили досуха шампанского, проводили к убранной колосьями и васильками тройке и усадили под гром «ура». Виктор Алексеевич пригласил всех на новоселье, только устроятся. Приняли дружно и просили до новоселья на товарищеский обед у «Касьяныча», на Зуше, — загрузить балласт нового пути.

Когда садились в коляску, встретил их Карп, приехавший до них. Он уж освоился, был, видимо, доволен, смотрел усадебно-барским кучером. На оклик Дариньки «Карп наш!.. понравилась наша дачка?» — Карп степенно ответил: «Хороноу, барыня... ти-хо». Забрал на пролетку чемоданы и Анюту.

Все ладилось, — начинавшийся новый путь. Чувством покоя, что все теперь будет хорошо, отозвалось в сердце Дариньки, когда увидела она спокойного, рассудительного Карпа. И, как в Москве, подумала: «Хорошо, и Карп с нами».

II ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Мягко гюгремывая бубенцами, встряхивая на ямах булыжной мостовой, подкидывая выдавшими все рессорами, коляска спускалась к Зуше, разделяющей город на две стороны: к чугунке и — главную. Пристанционная сторона походила на слободку. Кузицы, постоянные дворы, домишки с пустырями и огородами, канавы с краев дороги, заросшие крапивой и лопухом, — попалась на глаза Дариньке развесистая береза, так и росла в канаве, — крылечки, в просвирнике и шелковке, заросли бузины, лавчонки с лаптями и кнутьями на растворах, гераньки в окнах, бочонки с селедками у лавок, кули с овсом, усеянные голубьями, дремлющие коты на окнах... — все говорило ей: «Привычные мы, простые... хорошо». И, как бы в ответ всему, Даринька сказала, вдыхая запах лилий:

— Как хорошо, Господи... славные все какие.

В этом ласковом «славные» все для нее сливалось: радушные путейцы, любопытные бабы головы, в повойниках и платочках, глядевшие из окон на разукрашенную тройку; скворешни на березах, пожарная каланча с дремотным дозорным на перильцах; уютные домишки с баньками на курьих ножках; возвившаяся в пыли голопузая детвора, жестяной калач-вывеска, сонное зеркало Зуши... — со всего веяло покоем.

— Да, славный народ путейцы наши... — сказал Виктор Алексеевич, впервые за много лет почувствовавший такой покой. — Все от тебя, твое все очарование. Вдуматься... сколько в людях хорошего и как редко оно прорвется. А как прорвется, всем делается легко, будто праздник.

Эти мысли — к размышлениям он всегда был склонен — пошли от приятной встречи и чтения в вагоне «Анны Карениной». Устроятся на новом месте, надо поставить за правило — каждый день хоть час уделять Дариньке, развивать ее, помочь разобраться в смутном, что в ней, побороть ее робость перед жизнью, беспочвенный этот мистицизм. И непременно прочесть и продумать с ней «Анну Каренину»...

Мысли его перебил окрик ямщика:

— А, ты, несчастная!.. чуть было не зашиб!..

Коляску сильно трянуло: ямщик осадил лошадей, коренник взвился в воздух. Случилось происшествие, нередкое в русских городках.

Коляска спускалась к плавучему мосту через Зушу, и только лишь припустил ямщик, — прокатить по приятному настилу, как из-под ног лошадей выскочило что-то отрепанное и грязное.

— Киньте ей пятак, барин, — сказал ямщик, — а то, ну-ка, словами застегает...

Настенька это, юродная... выйдет нехорошо.

— Кто?.. юродная?!.. — живо спросила Даринька. — Дай ей гривенничек скорей!..

Она выглянула из-за цветов и увидела невысокую худенькую — девушку ли, старушку ли, — трудно было узнать: все лицо было вымазано грязью. Юродивая скакнула к коляске, заглянула в лица проезжих, словно хотела запомнить их, стала креститься и тонким, совсем детским голоском выкрикнула:

— Молодые едут, с цветочками!.. дай, молодая, цветочков Настеньке... Богородице снесу... Младенчику поиграть, Младенчику поиграть!..

В сильном волнении, почти в испуге, Даринька сорвала ленту на букете, отделила половину лилий, оторвала кусок ленты, обмотала цветы, шепча в испуге: «Господи, Господи...» — и сунула юродивой:

— Отнеси, милая, Пречистой... Господь с тобой...

Виктор Алексеевич испугался, как бы дурочка не принялась ругаться, и швырнул ей рублевую бумажку. Юродивая махнула им цветами и крикнула:

— Вот добрые-хорошие... учись! учись!!..

— И хорошо, барин, — сказал ямщик, — теперь она вас признала, будет за вас молиться. Совсем она горевая, незадачная, не выдали ее за хорошего человека, мачеха не желала, разбила ихнюю любовь. А папаша не заступился, тихий очень. И Настенька в него, покорливая. А кого невзлюбит, словами застегает. Не шибко бранные слова, а неприятно слушать, так все: «Изверги, гонители-мучители!..» — заладит.

Коляска прокатилась мостом, на широкой здесь Зуше, и стала шагком подниматься к городку. Дариньке понравился мост на смоленых дощаниках; пахло смолой, парившей к вечеру рекой, медом начавшегося покоса. Она была захвачена этой встречей, показавшейся знаменательной, и расспрашивала ямщика, почему эта девушка стала юродивой. Ямщик говорил охотно и рассудительно:

— У нас над ней не смеются, как в прочих местах, жалеем ее. Есть такие в округности, в Оптину их возят, к старцам, отчитывать, молятся за таких. Бывает — и снимают порчу. А Настенька тихая, болезная, а кто говорит — будто и святая. Года три с ней такое, недоумение-то. Да вы все про нее дознаете, ее Аграфена Матвеевна очень хорошо знает, про ее. А это в именье, ютовских ребят выходила, мудрая, богомольная... очень правильная. Господ Тургеньевых дворовая была, в Спасском, а после к Ютовой барыне прижилась. Горюет, поди, барчуки свое гнездо на свободный воздух променяли. Как уж она теперь с ним расстанется?.. Настенька все к ней хаживала.

Ямщика охотно слушал и Виктор Алексеевич: тургеньевское Спасское- в семи верстах! Соседи, может быть, и знаменитого писателя увидят, познакомятся.

— Правда, хорошо, что Уютово купили? — спросил он Дариньку. Она сжала его руку без слов.

— Она была счастлива, — вспоминал Виктор Алексеевич первый их мценский вечер. — Тихий городок, приволье, дуга, рощи, темная полоса боров по горизонту — было близко ее душе. Случай с юродивой вызвал во мне мысли порядка бытового, как картинка захолустной жизни, а Даринька приняла это трепетно-чутко и была права: последствия этой встречи оказались немаловажными в нашей жизни. Случай с цветами разгласился и произвел некое сотрясение в умах, дал толчок чувствам, для меня неожиданным. И бессвязный выкрик «учись, учись!..» — оказался полным значения. Больная, конечно, не сознавала, почему она выкрикнула, а народ-то «амманский» по-своему воспринял это ее «учись», наполнил своим смыслом.

От городка лился дремотный перезвон.

— К Великому Славословию, — сказала Даринька. Она крестилась на блиставшие за домами кресты церквей, позлащенные вечерним солнцем. — До чего же хорошо, Господи... — сказала она, — тишина... так я ждала ее.

— У нас хорошо, барыня, тихо... — сказал ямщик, обернувшись к ним и улыбаясь, и Дариньке понравилось его круглое лицо в русской бороде и светлые,

мягкие глаза. — Понятно, скушно зимой, снега глубокие, лесная сторона близко, калужская, с нее и метет на нас. А летнюю пору самая дача для господ, и из Орла даже приезжают, в имения. А уж Ютово — чистый рай. Цветы всякие, оранжиреи, фрукты-ягоды... чего только душа желает. Покойная барыня до страсти цветы любила, а хозяйством не интересовалась. И барчуки в нее, не любят хозяйствовать. Аграфена Матвеевна скажет ей: гречки бы посеять, а то все в городе берем, смеются, — от своей земли да за крупой в лавочку! Барыня еще до птицы была охоча, какая даже без пользы, а пропитания требует деликатного... у них и по сию пиру кормушки в парках, для вольной птицы... на зиму даже, снегирям, синичкам...

— Да?!.. — обрадовалась Даринька.

— Всем полное удовольствие: конопляно семя, яички мурашкины, всего. А какие не наши — рису закупали. Три павлины было, им изюм брали, с чем чай-то в пост пьют... а изюм-то кусается, а она ящиками забирала. Серчает, бывало, Аграфена-то Матвеевна, — чего с вашей павлины, крик один. Ну, мы перышки на шляпы себе набираем.

Было приятно слушать неторопливую, покоящую беседу ямщика. Коляска ползла-укачивал а на ухабистой мостовой подъема. Домики пошли нарядней, с разными наличниками, с рисунчатými занавесками, хитрого здешнего вязанья на коклюшках. Сады за гвоздьями заборами просторней, палисадники с подсолнухами, с жасмином; медные дощечки на парадных, старoverческие кресты над входом. Ото всего веяло уютom, неторопливостью, крепким, покоящим укладом. В раскрытые окошечки тракторов было видно, как истово, в раздумье, потягивают с блюдечек кипятok распотевшие мужики в рубахах, подперев блюдечко тройчаткой, розаны на пузатых чайниках.

— Сколько мечтала так вот пожить, в тишине, уютно... — сказала Даринька, — как вот молятся в церкви... — «благоденственное и мирное житие...». Ходили с тетей на богомолье, всегда мечталось — в таком бы вот городке остаться, жить тихо-мирно, хоть в бедности, приданое бы вышивала на богатых, на двадцать копеек в день прожила бы, в церковь ходила бы... А в Москве суета, не жизнь. Ведь жизнь... это когда душа покойна, в Господе. Христос всегда говорил — «мир вам...», и в церкви о мире молятся... — «мира мирови Твоему даруй...».

— Верно, барыня... слушать приятно правильные слова, от божественного... — обернулся ямщик и ласково оглянул их.

Виктор Алексеевич дивился, как Даринька разговорилась. Такого еще не было с ней за эти два года жизни: таила в себе, стыдилась неграмотной простоты своей.

— Правда, — согласился он, — ты знаешь это сердцем. Знаменитый мудрец Лев Толстой сказал, в сущности, то же, только пришел к этому после долгих размышлений. Так и высказывайся, это и мне полезно.

Он говорил от души: давно не испытывал такой умиротворенности и легкости. Здесь можно работать, думать. Вздор, будто провинциальная глушь засасывает. Вся Россия живет в глуши и творит. Только тут и можно уйти в себя, понять жизнь. Жить от земли, с народом, его правдой... да, Толстой прав.

Перед выездом на базарную площадь они увидели слева приземистую церковь с круглой колокольной; приятно была белая колоколенка в брезгах.

— Одну минутку... — попросила Даринька остановиться, — свечку поставлю и приложусь.

Она вбежала на проросшую травкой папертку. Виктор Алексеевич закурил. Не хотел вылезать, не хотелось и смущать молитвенный порыв Дариньки, да она и не позвала. Покуривал и раздумывал. Много нового откроется для нее в усадьбе. Теперь жизнь потечет без взрывов, без потрясений, как где-то сказано — «жизнь жительствоует». Много надо прочесть, вырешить главное. В Ясной Поляне побывать. «Самого важного и не разрешил, — подумал он о жизни и, вскользь, о Боге, — заняться Даринькой... что я ей дал?.. брал только чувственно, и она стала меня чуждаться, в нем хотела найти, чего ей не дал я...» — подумал он о Вагаеве.

— Видать, богомольная у вас супруга, — сказал ямщик, — всегда с молитвы на новом месте надо. Дядя мой в Оптину в монахи ушел...

Виктор Алексеевич спросил, как его звать и где стоит: нравился ему ямщик степенной речью и повадкой.

— Донцовы мы, нас все знают. А я, стало-ть, Арефа Костинкиныч Донцов. А жительствоуем мы на Московской, сразу наш дом увидите, в два яруса, голубой, лошадка железная на крыше... Гляди ты, Настенька барыни цветочки в церковь понесла! правильно сказала давеча: «Богородице снесу!» С цветочков и недоумение в ней пошло, стала из чайника на себя поливать. Значит, платье на ней было в цветочках, ситчик цветной... это как жених смотреть ее приезжал, фабриканта сын, Иван Петрович Клушкин. А ей не жалелось за него...

Виктор Алексеевич предложил Арефе папироску, но тот сказал, что бросил баловство, «книжку прочитал внушающую». Тут вышла из церкви Даринька, лучезарная, совсем такая, как увидел ее Виктор Алексеевич в келье матушки Агнии, с осветляющими глазами, юницу, в белом, до земли, одеянии. И теперь она была в белом, пике.

— Не долго, не сердись на богомолку?..

— А цветы?.. — спросил он. — Только две лилии... Она блеснула глазами к церкви.

— И та... Настенька... тоже пришла, принесла цветы... и начала ставить перед «Всех Скорбящих»... будто свечки. Какие не втыкались, падали... ей стали помогать. И молилась, совсем разумная. И на меня все так... поскорей вышла, Должно быть, дивились... у ней лилии и у меня. Это редкие цветы, душистые лилии?.. Как хорошо, что ей не запрещали ставить...

— Воспретать нельзя, дело благоугодное... — сказал ямщик. — Теперь я вас за двадцать минут доставлю, шесть верст, дорога гладкая. Эй, ма-лень-ки-е!..

Свернули на мягкую дорогу, Зушей, увалами, раздольными хлебными полями. Колоколец визжал и ерзал в уносе тройки. Дух захватывало от скачки, от тепло-го полевого меда зревших уже хлебов.

— Вон оно, Ютово, на гривке!.. — крикнул ямщик, — весело стоит!..

В «Записке» Дарья Ивановна записала о возложении цветов.

«...Осияла Пречистая душу мою, при недостойнстве моем, даровала умиле-ние. Так мне пришла по сердцу эта церковка: старинная, с узкими оконцами, со сводами корытцем. Народу было мало, больше девицы и женщины. Уже кончили прикладываться к иконе Праздника на налое. Хорошо и легко молилось. Склонилась перед Крестителем, пошептала тропарик и в ликовании сердца